

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

УМИРАЮЩИЙ
ВАРНАК

Николай Эдуардович Гейнце

Умиравший варнак (Рассказы)

«Он лежал навзничь, недвижимо. Казалось, это был труп. Его фигура выделялась на белой пелене снега какою-то темною, бесформенною массой.

Только судорожные движения правильного, выразительного, бледного, измученного лица, сменяющиеся вдруг странным, поражающим контрастом — счастливой, почти блаженной улыбкой, доказывали, что искра жизни еще теплилась в нем, вспыхивая по временам довольно ярко, подобно перебегающей искре потухающего костра, разведенного неподалеку от него...»

Николай Гейнце
Умиравший варнак
Психологический этюд

Он лежал навзничь, недвижимо. Казалось, это был труп. Его фигура выделялась на белой пелене снега какою-то темною, бесформенною массой.

Только судорожные движения правильного, выразительного, бледного, измученного лица, сменяющиеся вдруг странным, поражающим контрастом — счастливой, почти блаженной улыбкой, доказывали, что искра жизни еще теплилась в нем, вспыхивая по временам довольно ярко, подобно перебегающей искре потухающего костра, разведенного неподалеку от него.

Он умирал, умирал один, вдали от людей, среди суровой, неприятной природы — в сибирской тайге.

Бесформенный вид придавала ему его одежда: она состояла из рваной собачьей дохи, шапки из такого же меха и кожаных бродень на ногах. Тощая котомка из грубого холста и длинная сучковатая палка лежали около него.

Нетрудно было с первого взгляда признать в нем варнака, то есть беглого каторжника. Он и был им. Но нетрудно было также угадать

под этим безобразным костюмом человека, испытавшего когда-то иную, лучшую и далеко не суровую долю.

С правой руки его спала меховая рукавица, и тонкие, изящные пальцы, хотя и покрытые слоем грязи, красноречиво говорили о его происхождении. Из-под уродливой меховой шапки, носящей местное название треуха, выбивались шелковистые черные кудри; такие же всклокоченные усы и борода обрамляли интеллигентное, умное, энергичное лицо с нежными, аристократическими чертами. Глаза были закрыты, и густые, длинные ресницы оттеняли ушедшие от худобы лица вглубь глазные впадины. На вид ему казалось не более тридцати лет.

Таков был лежащий недвижимо варнак.

Был полдень. Яркое солнце освещало девственный лес, играло лучами на покрытых инеем сучьях вековых деревьев. Они казались осыпанными миллиардами бриллиантов чистой воды.

Это было холодное сибирское солнце: оно светило, светило ярко, но не грело. В воздухе стояла какая-то невозмутимая тишина. Ни

малейшее дуновение ветерка, ни малейший шепот не нарушали величавого спокойствия дикой, ледяной природы.

Казалось, подавленный этой окружающей тишиной лежавший варнак, хотя и мог бы, не смел шевельнуться. Он доживал последние минуты своей надломленной жизни.

И в эти минуты с особенной рельефностью, как в калейдоскопе, проносилась в его напряженном воображении вся его прошлая жизнь. Так натянутая чрезмерно струна, готовая оборваться, звучит сильнее.

Быстро неслись перед ним воспоминания раннего детства.

Берег далекой красавицы Волги, где живописно раскинулось его родовое имение, ласки матери, давно лежащей в могиле, святой женщины, боготворившей своего единственного сына. В любви к нему находила она утешение в своей безотрадной, страдальческой жизни с деспотом мужем, из гуляки-гусара превратившегося после свадьбы в гуляку-помещика.

При воспоминании о ней светлая улыбка озарила лицо умирающего. Живо вспомнилась ему минута разлуки с этим, тогда един-

ственным любимым им существом. Ему пошел одиннадцатый год, и отец повез его в Москву, в гимназию.

Как теперь, помнит он сцену прощания на крыльце: дрожащую, благословляющую руку и полные слез прекрасные глаза, устремленные на него с невыразимой нежностью.

Он истерически зарыдал.

Отец грубо подхватил его под руки и буквально бросил в дорожную карету, затем обратился к жене, по обыкновению, с каким-то резким замечанием.

Та без чувств упала на пол, и слуги подхватили ее.

Он не видел, как уносили ее в дом, так как отец отворил в то время дверцы кареты и стал усаживаться с ним рядом.

Карета покатила.

Это была для него первая страшная минута в жизни.

Выражение страдания и теперь появилось на лице варнака.

Большой, незнакомый город. Гимназия, куда он был помещен на полный пансион, окруженная для него какою-то таинственностью,

мундирчик, в который его облекли, товарищи, учителя, новые лица, новые порядки — вся эта масса нахлынувших на ум мальчика свежих сильных впечатлений смягчили грусть разлуки с родимым гнездышком.

Отец уехал.

Сын вошел в гимназическую колею.

Потянулись долгие учебные годы. Памятно ему из них лишь время каникул, когда он снова возвращался в объятия любимой матери, передавал ей впечатления прожитого в разлуке с ней учебного года и оживал под ее животворящими ласками, сбрасывал с себя зачерствелость, навеянную сухими учебниками, переполненными сухими фактами и правилами; с жадностью, полной грудью вдыхал свежий деревенский воздух и по целым часам любовался на несущую свои мягкие волны красавицу Волгу.

Здесь проходил он курс иной, высшей науки: в объятиях матери и природы учился он чистой любви и чистой поэзии.

Снова улыбка счастья появилась на устах варнака.

Он вернулся с последних гимназических

каникул в седьмой, последний класс. Радужные мечты рисовались в будущем. Через год, только через год — университет, — он решил быть юристом, — только что нарождавшаяся тогда адвокатура, слава, богатство...

Последнее, впрочем, ему было излишним.

Как единственный сын богача-отца, он не нуждался в средствах.

Вдруг, тяжелый удар.

Страшные судороги исказили лицо варнака.

Он получил от отца письмо с черной печатью, уведомлявшее его о смерти матери.

Его единственного дорогого друга не стало.

Впечатлительный юноша не вынес обрушившегося на него несчастья. Нервная горячка почти на целый месяц приковала его к постели. Без него опустили ее в могилу.

Молодость, однако, взяла свое. Он выздоровел и кончил курс.

Приехав в имение отца, не заезжая в дом, он приказал остановиться у церковной ограды и упал, обливаясь слезами, на могилу матери. Слезы облегчили его. Несколько времени провел он в тихой молитве и как-то совер-

шенно успокоился. Странное сознание появилось в его уме: ему показалось, что когда мать была жива — он мог быть с нею в разлуке, не видеть и не слышать ее, теперь же она везде и всегда будет около него, он будет не только слышать, но и видеть ее. Он почувствовал это как-то не умом, не сердцем, а всем существом своим, и не только успокоился, но как-то странно радостно стал думать, что она умерла.

«И ей, и мне лучше!» — мелькнуло в его голове.

Он снова почувствовал, почувствовал всем существом своим, что это было именно так.

В отце он не нашел перемены. Казалось, в его жизни ничего не случилось. Он не изменил ни на йоту ее режим: те же охоты, пикники, попойки...

Встрече с сыном придавал он деловой характер. Через несколько же дней ассигновал ему довольно крупную сумму в год для жизни в Москве студентом и тотчас выдал треть.

Видно было, что он его выпроваживал. Сын стеснял его.

Тот понял и, посетив еще раз могилу мате-

ри, уехал в Москву.

Отец его не задерживал.

Снова еще неизведанные впечатления — первые шаги самостоятельной жизни.

Быстро, быстро несутся воспоминания, приближаясь к роковому моменту. Первые лекции, экзамены, кружок товарищей, споры, — споры без конца на отвлеченные темы в наполненной табачным дымом комнате, мечты об идеалах, славе, исполненном долге...

Какая-то горькая усмешка появилась и теперь на лице варнака.

Он на четвертом курсе. Одна из первых лекций в начале учебного года. Каждый год в это время появляются в университете новые лица — еще совсем юноши, робко, нетвердою походкою вступающие под своды храма наук. Как бы чем-то испуганные, чего-то конфузясь, с тетрадками в руках, сторонясь других, ходят они по коридорам и залам; это первокурсники, находящиеся еще под свежим впечатлением гимназической скамьи.

Между ними в этот год оказался юноша, еще совсем мальчик, с нежным, как у девуш-

ки, милovidным, безусым лицом, с вьющимися белокурыми волосами, с восторженным взглядом светло-голубых глаз.

Его как-то потянуло к этому юноше. Он искал с ним встречи. Это было тем легче, что первокурсник был тоже юрист.

Раз завязался незначительный разговор.

— Стоцкий! — счел долгом представиться юноша.

— Бартенеv! — отвечал тот.

— Бартенеv? — прошептал тот и поднял на него восторженный взгляд.

Потом схватил его за руку и крепко пожал ее.

— Как я рад, как я рад!

Имя Бартенева гремело в университете: на последнем акте он получил за сочинение золотую медаль. Знакомство завязалось. Через несколько времени Стоцкий робко обратился к нему.

— Вы позволите мне посетить вас?

— Буду очень рад, — поспешил ответить он и дал свой адрес. Стоцкий не замедлил явиться и пригласил его к себе.

Он жил с родными.

Этот визит решил его судьбу.

Перед ним и теперь восстал в ярких, живых красках образ красавицы-девушки, сестры Стоцкого Татьяны Анатольевны. Похожая на брата, но еще более женственная, полувоздушная, грациозная, она казалась каким-то неземным существом, чем-то «не от мира сего», хотя опытный физиогномист по складочкам у ее розовых губок и стальному подчас блеску ее чудных голубых глаз далеко не признал бы ее чуждой всего земного.

Бартенев, увы, не был физиогномистом.

Он преклонился перед обаянием красоты.

Улыбка счастья появилась и теперь на страдальческом лице варнака.

Он припомнил впечатление этого первого знакомства: она показалась ему тем «мимо-летным видением», тем «гением чистой красоты», которого так звучно воспел его любимый поэт.

Он начал бывать часто, привлекаемый какою-то неведомой силой.

Сердце сердцу подало весть.

Он добился взаимности.

Это был лучший вечер в его жизни.

Они были вдвоем.

Он робко, осторожно начал признание.

Она поняла его и потупила глаза. Незаметно очутились они близко друг к другу. Губы их слились в первом поцелуе.

Он был счастлив, счастлив полным счастьем.

Вдруг счастливую улыбку сменили страшные судороги. Лицо варнака приняло почти зверское выражение.

Недолгим было его счастье!

Оставалось несколько месяцев до окончания курса. Они решили с божественной Таней подождать объявлять родным. Тайна в любви придает ей еще большую сладость.

Незаметно неслись дни.

Вместе с уведомлением о полученном им кандидатском дипломе сообщил он отцу о своем решении жениться на девице из дворян, Татьяне Анатольевне Стоцкой, и просил его благословения.

В ответ он получил письмо, в котором отец игриво выражал свое согласие и извещал, что едет познакомиться с избранной им подругой жизни.

Он с восторгом передал своей милой Тане желание своего отца.

Жених и невеста — они уже были объявлены — стали с нетерпением ожидать приезда старика Бартенева.

Наконец он приехал.

Будущая невестка, видимо, ему полюбилась: цветы, конфеты, ценные подарки посыпались на нее дождем из щедрой руки будущего богатого свекра.

Он сам в присутствии невесты сына молодец, подтягивался и браво крутил свой на фабричный ус.

— Вам самим еще самая пора жениться, — как-то сорвалось с языка старухи Стоцкой.

— Что же, я бы не прочь, да ведь он не уступит, — молодецкато пристукнул старик каблуком, кивнув в сторону сына.

Все расхохотались шутке.

Одна Таня почему-то сконфузилась. Он — припоминает теперь — тогда не обратил на это внимания.

Стоцкие были люди далеко не богатые и хотели сыграть тихую, скромную свадьбу, но старик Бартенев воспротивился. Он добился,

без большого, впрочем, труда, позволения заказать для невесты все приданое в Париже, что привело в неописанный восторг Таню, но зато огорчило ее жениха. Свадьбу поневоле должны были отложить.

Была половина августа. Заказанное приданое и подвенечное платье были получены из таможни, и день свадьбы был назначен на пятое сентября.

Так решил сам отец; но в этот же вечер он попросил сына съездить недельки на две в деревню, так как наступало время хлебных сделок.

— Надо и тебе приучаться к хозяйству, — заметил он, — я становлюсь стар; мне необходим помощник.

Он помнит и теперь, с каким восторгом согласился он исполнить волю отца, окружавшего его и любимую им девушку нежным вниманием.

Мысль о разлуке с нею кольнула его в сердце, но он пересилил себя.

Через день, простившись с невестой, он укатил на берега красавицы Волги.

— Возвращайся к третьему сентября, —

сказал ему отец, обнимая на прощание.

Приехав в имение, он деятельно принялся за дела, но вдруг какое-то странное предчувствие близкого горя стало томить его.

Он начал рваться туда, в Москву, с какою-то неудержимою силой; наконец не выдержал, бросил все и помчался назад.

Живо и ясно, как-будто это было вчера, несмотря на то, что уже прошло более пяти лет, представился умирающему этот роковой момент приезда в Москву, представился во всех его мельчайших, потрясающих подробностях.

Было около шести часов вечера первого сентября. Стояла прекрасная, совсем еще летняя погода: в воздухе было жарко, и густая едкая пыль застилала московские улицы. Вот он миновал Пречистенский бульвар, площадь Пречистенских ворот и повернул на Остоженку, где жили Стоцкие, а в одном из прилегающих к ней переулков была и его холостая квартирка.

Надо было проехать мимо дома, где жила она, его Таня. Вот и их квартирка в двухэтажном домике. Но что это такое? У подъезда тол-

пится народ, стоит несколько экипажей, а впереди парадная карета, запряженная шестеркой.

Он помнит, помнит как сейчас, что что-то больно, невыносимо больно резнуло его по сердцу.

Выражение смертельного ужаса отразилось и теперь на лице варнака.

— Стой! — крикнул он кучеру и стремительно выпрыгнул из экипажа. Из расстегнувшейся от быстрого движения клеенчатой кобуры выпал револьвер и со звоном упал на мостовую.

Какой-то мальчишка из окружающей крыльцо толпы поднял его и подал ему.

Он машинально сунул его в карман пальто.

Торопливо поднялся он на три знакомые ему каменные ступени крыльца и нервно дернул за медную ручку колокольчика.

Ему отворила дверь Настя, горничная Стоцких.

Отворила как-то странно, дико посмотрела на него, что-то вскрикнула и быстро убежала в комнаты.

Он не разобрал, что она крикнула: была ли это фраза или просто бессвязный крик.

Он потом несколько раз старался припомнить этот крик и решить этот вопрос, но безуспешно.

И теперь его мысль остановилась на том же самом.

«Нет, это просто был крик, крик испуга, неожиданности, предчувствия катастрофы, но не фраза», — решил он теперь и снова сосредоточился на воспоминании, отвлеченный невольно от них этим размышлением.

Первую фразу, связную, полную, совершенно отчетливую фразу, услышал он в гостиной Стоцких, куда прошел не раздеваясь, как был: в пальто и даже в шляпе.

Он отчетливо помнит и теперь, что чувствовал тогда, что ему надобно снять шляпу, что в шляпе войти в комнату неприлично, но ему не только не хотелось, он просто не мог вынуть из кармана правую руку. В левой же он держал зонтик, хороший зонтик, шелковый, с ручкой из слоновой кости и его инициалами: А. Б. — Александр Бартенев.

Он, как теперь, видит перед собой этот зон-

тик.

Но чем же была занята его правая рука?

Он начинает припоминать. Да, он помнит. Когда Настя вскрикнула, ему вдруг стало как-то безотчетно страшно. Он опустил руку в карман пальто и ощупал положенный им туда револьвер. Он судорожно ухватился за него и чем крепче держал его, тем сильнее сознавал какую-то несомненную, но смутно представлявшуюся ему опасность. Оторвать руку от револьвера, чтобы снять шляпу, он был не в силах.

Вот почему вошел он в гостиную в шляпе.

Зала и гостиная были пусты. Рядом, в столовой, слышались голоса, гремели посудой, видимо, пили чай.

Оттуда-то и донеслась до него эта первая, связная, полная, совершенно отчетливая фраза. Говорил чей-то резкий мужской голос:

— Нельзя ли поторопить невесту? Михаил Петрович уже с полчаса, как дожидается в церкви.

Михаилом Петровичем звали его отца.

Он услышал эту фразу, едва переступив порог гостиной.

Почти в тот же момент отворились двери, противоположные тем, которые вели в столовую, — двери, ведущие в ее комнату, в комнату его Тани, и в них появилась она, в парижском подвенечном платье, окруженная подругами, свежая, сияющая, довольная, с флер д'оранжем на голове и на груди, с великолепным из крупных бриллиантов фермуаром на белоснежной шейке, с огромными солитерами в миниатюрных розовых ушках.

Бриллианты горели всеми цветами радуги сквозь густую подвенечную вуаль, окутавшую всю ее фигуру.

— Вот и я готова! — весело начала она по адресу матери и отца, вышедших из столовой в сопровождении гостей. Но вдруг голос ее в конце фразы оборвался.

Она увидела его.

Наступила на секунду роковая тишина.

Он сделал к ней несколько шагов.

Она стояла, как бы застывшая.

Он несколько мгновений любовался этим дивным видением, казалось, спустившимся на землю в светлых, лучезарных облаках.

Вдруг мелькнул огонь, раздался выстрел,

затем неистовый крик.

Чудный призрак заколыхался, и на окружающих его белых облаках появилось красное кровавое пятно.

Потом вдруг все окрасилось кровью.

Далее он ничего не помнит.

Очнулся он в тюрьме.

Началось следствие.

Он не желал отвечать ни на какие вопросы.

— Вы говорите, что я убил ее... Я вам верю и очень рад! — твердил он следователю.

Большого от него не добились.

Его освидетельствовали, но он так разумно и толково давал ответы на все вопросы, не касавшиеся события первого сентября, что врачи признали его психически здоровым.

Дело поступило в суд.

Он отказался иметь заступника.

После картинной речи обвинителя его спросили, что он может сказать.

— Они говорят, что я убил ее. Я им верю и очень рад! — сказал он присяжным.

Присяжные нашли его виновным.

Суд осудил его в каторгу.

Он помнит все это, но помнит как-то смутно, как будто та кровавая пелена, которая появилась перед его глазами в гостиной Стоцких и которая нет-нет, да и застилает их и теперь, мешает ему ясно воспроизводить в уме впечатления последующих событий. Да и самые эти события, кроме одного, о котором он и теперь не может вспомнить без ужаса, представляются ему какими-то мелкими, ничтожными.

Какой-то туман покрыл всю его жизнь, да и он чувствует, что относился к этой жизни как-то безразлично. Ничто не волновало его, ничто не привлекало его внимания: он шел, куда его вели, делал, что ему говорили. Какая-то апатия, какое-то равнодушие стали неизменным настроением его души.

«Будь, что будет!» — мелькало в его уме, и эта фраза стала его жизненным девизом.

Тюрьма, следствие, суд, путь в Сибирь по этапам, каторга — все восстает перед ним, окутанным каким-то густым флером.

Одно впечатление вынес он из пережитых им долгих пяти лет, одно ощущение осталось в нем — это ощущение чисто физической

усталости.

Вот он лежит теперь один среди пустынной тайги. Он чувствует, что доживает последние минуты, но он доволен, доволен лишь тем, что может лежать и не шевелиться. Пошевелинуться теперь представляется ему страшнее, нежели умереть.

«Умереть! — мелькает в его уме. — Что такое смерть? Покой!»

Его-то он и ищет...

Он приветствует приближение этого покоя довольною улыбкой.

Костер трещит, потухая. Надо подложить топлива, иначе рискует замерзнуть или быть заживо съеденным зверями.

«Пусть тухнет, лишь бы не пошевелинуться!» — проносится в его уме.

Зачем он бежал? Да, он помнит: он сидел в одной камере с двумя товарищами; они собрались бежать и взяли его. Надо было, чтобы не осталось свидетеля их бегства. Они сказали ему, что возьмут его — он согласился. Куда? Зачем? Он не знал.

Зачем? Он теперь понял. Для того, чтобы лежать здесь и не шевелиться. Там, в тюрьме,

подымали на работу, там нельзя было лежать целый день. Это ему надоело, покой соблазнил его, и он бежал.

Они пошли; шли долго, запасы вышли, товарищи стали спешить, а он, — он устал... и лег.

Они развели около него костер и пошли за припасами, обещали вернуться, велели поддерживать огонь.

«Не надо, счастливый им путь, только бы не шевелиться. Покой, покой прежде всего!»

Лицо варнака дышало выражением этого наслаждения — безусловным покоем.

Вдруг черты лица его исказились. Казалось, умирающий впал в предсмертную агонию и испытывал невыносимые страдания. Он усиленно и порывисто дышал, как бы от жгучей внутренней боли. Глаза его, черные, выразительные глаза, широко раскрылись, и зрачки, медленно двигаясь в орбитах, видимо, следили за какой-то движущейся точкой.

Образ отца-разлучника несся перед ним в пространстве.

Он различал совершенно ясно только одну голову.

Бледное, как полотно, морщинистое лицо с всклокоченными седыми волосами; глаза, выкатившиеся наружу в предсмертном ужасе; намыленный подбородок и глубоко перерезанное горло.

Он едва узнавал в этом страшном призраке родные черты.

Из подернутого туманом хаоса воспоминаний этих роковых пяти лет ярче других предстал перед ним один страшный, потрясающий эпизод из его тюремно-каторжной жизни.

Он отбывал уже второй год наказания. Один из трех его товарищей по камере — старик, сидевший много лет, умер. С прибытием новой партии на его месте появился другой — хилый, чахоточный, молодой парень. Он недолго и протянул, менее чем через полгода сошел в могилу. Новый сожитель был молчалив и необщителен, и все искоса поглядывал на него. Ему тоже казалось, всматриваясь в него, что он где-то видел это лицо, но где — припомнить, несмотря на деланные им усилия, не мог.

Прошло около двух недель.

Была глубокая ночь. Вдруг сквозь сон ему почудилось, что кто-то крадется к тому месту нар, где он спал. Он старается проснуться. Вот кто-то уже около него. Ему слышно дыхание наклонившегося над ним человека. Он открывает глаза. Перед ним стоит его новый товарищ и как-то блаженно улыбается. Огарок сальной свечки, который он держит в руках, освещает его исхудалое лицо снизу.

Он с недоумением смотрит на подошедшего.

Тот продолжал улыбаться.

— А ведь это я... я порешил вашего папеньку! — шепчет, улыбаясь, он.

— Гаврюшка! — осеняет его мысль.

— Узнали! — радостно произносит арестант, и светлая улыбка еще более расплывается по его лицу.

Перед ним стоял товарищ его детских игр, сын садовника в имении его отца — Гаврюшка.

— Как? Ты?..

— Я же, я! — зашептал Гаврюшка, как-то радостно подтверждая свое преступление.

С его лица не сходила улыбка.

— Но как, когда? — снова шепчет он.

— Служил я в подмастерьях у парикмахера-француза в Москве, на Тверской, в тот год, как папенька ваш приехал женить вас. Заехал он к нам в магазин бриться, признал меня и стал у меня бриться ежедневно. Потрафил, видно, я ему.

Гаврюшка злобно усмехнулся.

— Мастер был я своего дела, не в похвалу себе скажу, первый сорт, потому тятенька меня тому французу на одиннадцатом году, вскоре после воли, на выучку отдал, и не только брить, стричь, завивать и дам причесывать, но даже по-ихнему, по-басурманскому лопотать я отлично выучился и русскую речь ломать начал. Бывало кричу в магазине не иначе как: «Мальшик, чипцы». Многие из посетителей за кровного француза меня принимали, другим же, кто меня знал, в том числе и папеньке вашему, очень это нравилось.

Гаврюшка хрипло, надорванно расхохотался.

— И начал это папенька ваш меня к себе сманивать на службу, значит, в парикмахеры, в деревню. Жалованье назначил большое.

Хотя местом я доволен был, да подумал, что у барина все посвободнее будет, — не целый день в магазине торчать. К тому же задумал я тогда жениться на нашей, на деревенской, — все одно к одному. Анютку-то, барин, помните?

Он отрицательно покачал головой.

— Кузьмы скотника дочь, белобрысая такая, все еще у скотного двора в песке копалась, махонькая тогда была еще, не ходила.

Он вспомнил и закивал головой.

— Ну, ну!

— Вот ее-то я и облюбовал. Выросла она статная такая, красивая, кровь с молоком, глаза светлые, большие... — Гаврюшка вздохнул. — Барин каждый день с ответом пристаёт — я и согласись, и про любовь свою рассказал. «Хороша?» — спрашивает. Я, как умел, описал ему мою зазнобушку. Ухмыльнулся только. «Значит, согласен?» — говорит. «Согласен!» — отвечаю. «Так вместе и поедем». На том и порешили. Тут в скорости разнеслась весть, как вы с невестой покончили, суд над вами состоялся, и я, грешный человек, свободную минутку урвал, послушать сбегал.

Папеньки-то вашего на суде не было, больным сказался, а затем, так через недельку, получаю я от него письмо и пятьдесят рублей на дорогу; просит выезжать немедленно. Раздумье тут меня взяло. Больно в деле-то вашем неказисто поступил он, да Анютка стала перед глазами мелькать, я и поехал.

Гаврюшка остановился.

— Дальше, дальше! — шептал он.

— Приехал я. Барин, папенька-то ваш, принял меня ласково, но только так лукаво улыбается. «За невестой тебе недалеко ходить, — говорит, — в ключницах она у меня уже с месяц живет». Я так и обмер, но пересилил себя. «Что же, — отвечаю, — благодарствуйте, что барской милостью ее взыскали». И ее увидал в тот же день: нарядная, пышная такая, а со мной — как чужая. «Здравствуйте, — говорит, — Гаврила Иванович», — и больше ни слова.

Гаврюшка затрясся.

— Всю ночь я не спал, голова огнем горела, поутру лишь из какого-то забытья очнулся. Позвали к барину брить. Уселся он перед зеркалом, намылил я ему подбородок, стал пра-

вить бритву, да и взгляни в окно, — а окна-то из кабинета на двор выходили, — а по двору-то Анютка идет, пышная такая, важная, и ключами помахивает. Побледнел я весь и затрясся. На барица взглянул. Заметил — сидит, ухмыляется. Зло меня взяло. Сделал я вид, что успокоился. Поднес бритву к его шее как ни в чем не бывало. Он голову поднял. Я его что есть силы бритвой по горлу и полосни. Не крикнул. Кровь фонтаном брызнула, горячая кровь, мне руки ошпарила. А с души, с души точно тяжесть какая свалилась, и легко мне в ту пору стало. Вышел я, как был, на двор с бритвой в руке, а навстречу мне Анютка плывет. Увидала меня всего в крови — побелела вся. «Поди, — говорю я ей, — обнимайся теперь с твоим полубоубником».

Гаврюшка захохотал.

Этот дикий, злобный хохот и теперь раздался в ушах умирающего варнака, раздался с такой силой, что он не выдержал и даже дрогнул всем телом, как тогда, ночью в тюрьме.

Это был, впрочем, последний пароксизм страшного, мучительного кошмара.

Лицо умирающего стало снова спокойным:

глаза закрылись.

Вот появилась даже какая-то тихая, радостная улыбка.

Образ нежно любимой матери проносится перед ним. Он сразу узнал ее, он любит ее, он лелеет взглядом дорогие черты, эту светлую, добрую улыбку, эти тихие глаза, глубокие, как лазурное море, освещенное солнцем. Вот и рука, его благословляющая.

— Мама, дорогая мама! — чуть слышно шепчут его губы.

А вот и она, его Таня.

Вечер первого признания восстает ярко в его памяти. Как живая, сидит она около него, вот наклоняется ближе, ближе — он переживает ощущение первого поцелуя. Улыбка неизъяснимого блаженства появляется на измученном лице.

Кругом все так же безмолвно и тихо. Природа в своем величавом покое безучастна к гибели человека — этой пылинке среди мироздания.

Но вот какой-то слабый треск нарушил невозмутимую тишину — это упала в снег последняя догоревшая ветка костра и зашипела.

Костер потух.
Варнак умер.